

Дикий хохот и крик взорвали утреннюю тишину. Вздрыгнул дом, и вздрогнули сонные люди. Бэнсон вообще-то лишь рядом со мной вел себя достаточно непринуждённо. В присутствии же других людей, не из семьи, он оставался прежним — немым, застенчивым Носорогом. Вот и сейчас, только дождавшись, когда за пьяненьким почтальоном, прячущим монету в отворот рукава, закроется дверь, он закричал и запрыгал. Он плясал на входной, с новым тёсаным полом площадке, ограждённой слева и справа дверями в помещения первого этажа, а с двух других сторон — входной дверью и лестницей наверх; в той самой прихожей, где когда-то легли убитые Сулейманом двое матросов, а сам Бэнсон получил пулю в лицо. Он подбрасывал к потолку белый, с пятакom сургуча, бумажный свиток, ловил его, и смеялся, и подвывал.

Вздрыгнули сонные люди. Опустила с дубового края кровати ноги Алис в розовой длинной рубаше и первым делом тревожно взглянула на жёлтую плетёную люльку с младенцем: спит? Спит.

Из каморки под лестницей, босиком, в подштанниках, с мушкетом в руке выбежал Носатый, — заспанный, с поднятыми торчком рыжими спутанными волосами.

Генри, в комнате с подоконником, взглянув в окно, затушил огарок бесполезной свечи, отодвинул книгу и, цепляя на нос новенькие, дорогие, в железной оправе, очки, побежал сквозь выставочный мебельный салон к выходу.

В спальне второго этажа, дальней, за ванной комнатой, с шёлковым свистом вонзил руки в рукава халата

Луис, бросился, завязывая пояс, к дверям, чертыхнулся, что-то забыв, обернулся, и Луиза, изогнувшись, как кошка, привстав на постели, швырнула ему через всю комнату кожаный пояс с кортиком и пистолем.

В подвале, в жилище при кухне, толстая старенькая миссис Бигль безуспешно пыталась растолкать храпящего почтенного джентльмена с белыми бакенбардами. В светлице третьего этажа выбежала на середину комнаты и замерла, прижав руку к груди, Эвелин.

Нераспечатанное письмо лежало теперь в центре стола, в обеденной зале. В центре громадного, длинного, с заточенными в овалы торцами стола, за который слетелась взволнованная семья. Ни Бэнсон, ни Эвелин не решались протянуть руку первыми. Наконец, судорожно вздохнув, Эвелин взяла свиток — и не раскрыла. Нетвёрдой рукой она протянула его Бэнсону, вымученно улыбнулась. Он принял свиток, откусил витой цветистый шнурок и отбросил на другую сторону стола лепёшку сургуча — печать наместника султана в Багдаде. Наподобие лёгкой пружины, свитый, развернулся с шорохом лист.

— Сэру Бэнсону, моему доверенному, в Бристоль. Немедленно отправьте Эдда в порт Банжул... Эдда в порт Банжул...

Бэнсон растерянно поднял глаза.

— Бэн, — тихо проговорила Эвелин. — На обороте, огамическое письмо.

Он перевернул лист, всмотрелся в штрихи:

— Любимые мои, здравствуйте!..

Эвелин устремила мучительный взгляд в пространство перед собой, куда-то в одной ей видимую даль. С лёгкими, исчезающими тенями под нижним абрисом нежных, огромных, бархатных глаз. Горячими, сухими губами она вышёптывала одно лишь короткое слово:

— Жив... Жив... Жив...

ПРОЛОГ, ПОСТСКРИПТУМ

Бэнсон, стиснув зубы, не разговаривая ни с кем, метался по городу. Луис приготовил ему все дорожные бумаги. Давид советовал дожждаться, когда придёт с очередным грузом его «Форт», а уж тогда отправляться в Турцию, — но куда уж. Сам. На попутных кораблях. Немедленно. Не нужен «Форт», «Дукат» стоит в Басре.

Алис, роняя на пальцы тёплые слёзы, вшивала в тайники его куртки золотые монеты. Крохотный Том, тараща в своей люльке тёмные Бэнсоновы глазёнки, не мешал ей: не плакал.

— Я сделал новое оружие, — говорил заметно постаревший оружейник угрюмо молчащему Бэнсону. — Вот смотри. Тонкий болт, с трёхлепестковым пером. Если положить во взведённый арбалет, то болт спереди будет немного высовываться. Я сделал несколько штук подлиннее. Навинчиваем на него этот вот железный цилиндр. В нём — чистый ртутус. На острие — капсулю. Ты наводишь арбалет, скажем, на каменную стену, щёлк, и и-и — бум! Стены нет. Только вот не испытан.

Бэнсон сложил оснастку в футляр, посопев, отсчитал деньги, потоптался у двери и вышел. Молча.

— Не попрощался, — глядя ему в спину, задумчиво сказал старик. — Это хорошо. Значит, скоро вернётся.

Скоро вернётся...

Почти не попрощался Бэнсон и с домашними. Дорога длинна, а времени нет. Томас, уезжая, сказал ему: «Я должен знать, что, если попаду в капкан, — ты меня вытащишь». И вот — миг настал. Не до прощаний. Долгие проводы — лишние слёзы.

Обнял всех. Погладил толстым пальцем Томову щёчку. Вскинул на плечи футляр с арбалетом, котомку, поправил под курткой нож и пистоль. Досадно, что не

заказал новых короткоствольных уродцев, как-то вот не подумал. А ведь время-то было! Теперь уже поздно. Обнял всех, открыл дверь и вышел. Один.

Но направился он не в порт. Нельзя отправляться на трудное дело, не опробовав снаряжение! За два пенни он сел на повозку, едущую из города, доехал до относительно густого леса, спрыгнул и скрылся между деревьями. До отхода корабля, капитан которого ждал его по просьбе Давида, оставался ещё полный день. Бэнсон поправил на плече футляр с арбалетом и углубился в лес.

Уйти нужно было подальше от дороги, ведь оружейник сказал: «Бум!!»

Бэнсон не был ни охотником, ни золотоискателем. Следовательно, он не знал леса. Он не знал, как нужно выходить на лесную поляну. Здесь мало быть осторожным. Здесь нужно откапывать в глубинах сознания и вытаскивать для нелёгкой работы чутьё. Бэнсон и подумать не мог, что стук его башмаков о нередкие лесные камни давно уже громовым грохотом разносится по округе, и на другом краю поляны, за кромкою леса, его уже ждут. И на открытое место он вышел неопасливо, безмятежно. И это понятно, ведь лес — он не город. Ведь лес — пуст.

Не всегда. Его увидели, а увидев, тут же вывернули наизнанку. Опытный взгляд за секунду определит — что за человек перед ним. Куда идёт, по какому делу, бывалый или нет, охотник или бродяга, разбойник или солдат, слаб или опасен. Те, что напряжённо следили за Бэнсоном, могли бы, конечно, дождаться, когда он пройдёт до противоположного края поляны, и тут, метнув нож из-за дерева, надёжно его положить, — этот день им нужно было прожить без лишних глаз. Но нет, ждать не стали. Сегодня их гнали вперёд не азарт и не дело. Их гнал тщательно спрятанный в закоулках сердец острый нетающий страх.

Бэнсон остановился, взялся за пистолет. Нет, ничего опасного. Люди идут не таясь. Вот женщина несёт ребёнка. Вот её муж. И старик — отец или дед.

Встретились на середине поляны. Молодая женщина, окатив Бэнсона волной синего взгляда, улыбнулась. Доверчиво, незащитно. Опустила на землю мальчика. В глубоком дыхании мягко качалась высокая грудь. Её спутник, почти одного роста с Бэнсоном, также с улыбкой шагнул, открыто, по-доброму протянул для пожатия руку. И пожатие было правильным: крепким, неторопливым, спокойным. Опустили на землю ношу: приличие требовало немедленно поприветствовать друг друга и без дальнейшего, впрочем, любопытства, проявить интерес как к личности, так и к цели путешествия — не с целью допроса, а с целью продемонстрировать дружелюбие.

Девушка достала краюху хлеба, разъяла её по разрезу — блеснула насыпанная внутри соль — и что-то шепнула малышу. Тот взял хлеб в ручонку, подняв ясное личико, протянул его путнику. Бэнсон вынужден был присесть, потянуться за хлебом: отказываться нельзя. А «отец» ребёнка чуть зашёл за спину к Бэнсону — шагом как будто бесцельным, случайным. Бесшумно снял с пояса металлический пест, — короткий боевой шестопёр. Девушка вдруг вскрикнула, глядя вниз, и, наклонившись, схватила свои юбки, и резко их вздёрнула.

— Ай, мышь!! — закричала она.

Ноги открылись. Прав патер Люпус, мужчины этого мира одинаковы до смешного. Всегда в эту секунду мужчина поворачивал голову в сторону вскрикнувшей женщины и невольно смотрел, торопливо питая взгляд запретным видом невзначай обнажённого тела. Но Бэнсон был джентльмен не по названию, а по сути. Он немедленно отвернулся, хотя никто никогда не учил его тому, что такое обязательный в подобной ситуации, пристойный и уважительный стыд.

Отвернулся, повёл головой, и потому удар шестопёра лёг не прямо в затылок, прошибая черепную кость. Удар упал на одну из макушек шишковатой, массивной Бэнсоновой головы, и упал он вдогонку и вскользь. Глухой стук, падение тела, кровь — всё это было, но сам Филипп понял, что кость цела, что удар не смертельный. Он с незнакомым для себя ужасом осознал, что «убитый» им — жив. Повторить удар? О, нет! Это значило бы — показать своим спутникам, что рука его перестала быть безусловно надёжной. Нет, пусть будет обычный удар. Парень мёртв. Кто его станет смотреть? Время не просто дорого. Оно *жизненно* дорого. Призрак того, кто мчится по их следу, велит продолжать торопливое бегство.

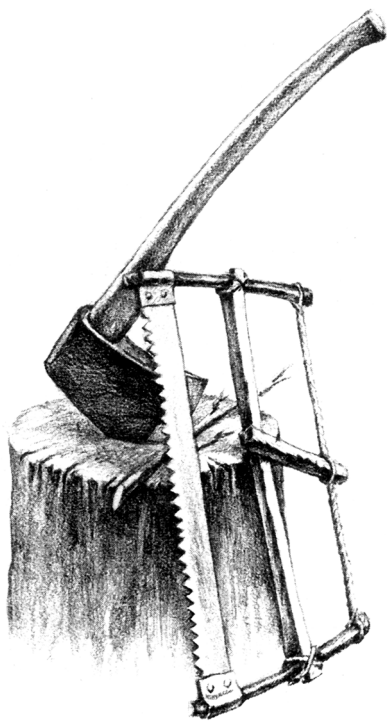
Прихватив футляр с арбалетом, люгрские оборотни исчезли с поляны.

— До чего же удачно! — хрипел на бегу патер Люпус. — Теперь, когда *он* дойдёт до поляны, минут, не меньше, чем на десять, задержится. Будет смотреть на лежащего, опасаясь подвоха, подкрадываться... Так что минут десять выиграли. Это бесспорно. И — тут где-то дорога. Лишь бы только в порт успеть раньше *него*...

Бэнсон приоткрыл глаза. Перед ним — в траве — ломоть хлеба. На полоске сероватой соли алыми каплями — его кровь. Попробовал встать — и не смог. Тело как будто исчезло. Не смог даже пошевелиться, когда почувствовал, что чьи-то руки поворачивают его голову, подводя лицо вверх. Сквозь солнечный блик Бэнсон увидел, как склонился над ним кто-то в капюшоне, с неясным лицом. Человек прижал к ране какую-то ткань и по-доброму, и как-то даже обрадованно, проговорил:

— Здравствуй, размахивающий сундучком!

Глава I
ХРОМОЙ ДРОВОСЕК



Непросто рассказать о том, чему свидетелем не был, что передано устами других, непосредственных очевидцев. Но во много раз сложнее поведать о том, чему свидетелей не было вообще. Во всяком случае — таких, которые могли бы рассказать тебе о древних временах и событиях. И когда всё же описываешь истории из жизни людей, которых не только не видел, но о которых не слышал и не читал, — как убедить других и себя, что описываемые тобой картины — доподлинно были на этой земле? Здесь приходится прикоснуться к феномену странного знания. Того, что приходит вдруг ниоткуда, но в истинности которого усомниться нельзя.

ПОРТУГАЛЕЦ И АБИГАЛЬ

Маленький городок на берегу речки, впадающей в Рейн. Алемания, XVII век, ближе к последней четверти.

Ганс от рождения был хромым. С самого детства его так и звали: Ганс Хромоножка. Он был монастырский крестьянин, поэтому своей земли не имел, кормился при кухне в монастыре. Это было и хорошо: с него не брали налог — ни с земли, ни со скота, ни с урожая. А в монастыре он был дровосеком. Невысокий, сдержанный на слова, с жилистыми крупными руками. Он был хороший дровосек, справный. На шесть дней он скрывался в монастырском лесу, — каждое утро к нему отправлялась подвода, забирающая дрова для прожорливых кухонных печей, — а на седьмой день, к воскресной службе, он возвращался назад. И в этот день всегда, согнувшись, тащил на спине связку хвороста — громадную, неподъёмную: это были *его* дрова. От кухни он получал лишь пропитание, иного содержания у него не было. Поэтому *кладовой* разрешал ему приносить раз в неделю вязанку для себя — какую смогут унести его полторы ноги. Эту вязанку он продавал за грошик кому-нибудь в селе: одежду, обувь и выпивку он должен был обеспечивать себе сам.

Надёжный дровосек, никогда не болеющий, из года в год, без праздников, отдыха, отлучки, он кормил старые монастырские печи. Зимой — больше, летом — меньше. Надёжный — и очень умелый: не было случая, чтобы дрова в подводе не были подобраны со знанием дела — сухая смолистая ель (на растопку), берёзовые сырые жаркие кругляши, ольха (для тонких нежных блюд и для соусов), а раз в месяц — несколько охапок осины, чтобы её злой и жёсткий огонь выжег скопившуюся сажу в трубах

и дымоходах. И в снег, и в дождь дрова прибывали вполне сухими, — он складывал и хранил их под громадным выстроенным на своей поляне навесом — из длинных кленовых жердей, накрытых толстой подушкой из елового лапника и глины. Такую крышу не проточит ни один дождь, нужно только поправлять её время от времени.

Бывали дни, когда подвода прибывала и днём. Ганс безропотно нагружал её запасёнными сверх урока дровами и, дождавшись, когда шелест хорошо смазанных колёс затихнет вдали, уходил под навес и сидел там, вытянув нездоровую ногу. Опирался, склонившись, на ноющее колено положенными друг на дружку ладонями, и сидел неподвижно, и плакал. Он знал, что эти его дрова — не для печей. Их привезут в село, на площадь, и будут жечь кого-то из колдунов или ведьм, — по определению трибунала великой инквизиции, — а на его взгляд — так просто живых людей. Площадь наполнится криками дикой боли, вылетающими из сине-красных, изломанных пытками тел, а потом густым чадом горелого мяса. Народ соберётся вокруг, все будут с жадным страхом смотреть, многие веселиться. А он почему-то мог только плакать. И обязательно скрытно, чтобы не угодить на тот же костёр за сострадание еретикам.

Свою вязанку он приносил в монастырь — показать кладовому. Тот, в засаленном до невозможности кожаном фартуке, громыхая свисающими с пояса до колен коваными ключами, подходил, всматривался и кивал головой: свежеспиленных дров нет, только сухой, со склонов оврага, хворост. «Монастырь разрешает забрать вязанку себе». После этого кивка Ганс втягивал дрова обратно на плечи и брёл в село, за своим грошиком.

В сорок лет Ганс женился. Супругой его стала женщина, похоронившая трёх мужей, поэтому союзу их предрекали быть несчастливым. Не принималось в расчёт, что кончины мужей её не были с ней связаны. Одного

сокрушили копытами лошади под бешеными седоками, — владелец местного замка с дикой свитой гостей и вассалов* гнал через его поле охоту. Второго убили на ярмарке голодные оборванцы, которые тут же, стараясь опередить подбегающих стражников, рвали из распоротого бока его котомки хлеб с сыром и заталкивали горстями в мелькающие рты. Третий, опившись браги, с топором гонялся за кем-то невидимым, влез на крышу да и свалился оттуда, пробив лезвием топора важную вену. Трижды вдова. Несчастливая баба, порченная. Только лишь Хромоножке и впору.

Неудивительно, что радости было мало. В два года раз рожала она по ребёнку, и его, как будто давно поджидая, забирала земля. Хотя и достался Гансу вместе с ней не гнилой ещё домишко и небольшой огород, но радости не было. Если не считать одного никому не известного случая.

Рано-ранешним утром, ещё по темноте приходил Ганс в воскресенье домой. Вязанка укладывалась у дверей — ожидать, когда он понесёт её на кивок спящему пока ещё кладовому. Хромоножка же подходил к жене, согнувшейся возле дымного очага, и клал на её спину, прикрытую грубой и старой, в больших, с нитяными хвостами, дырах, ночной рубахой, свою горячую, твёрдую, полускрюченную ладонь. Жена не то чтобы вздрагивала, но как бы затаивалась, движения её замедлялись, и он, ощущая под пальцами нарочито неторопкое шевеление её лопаток, тихонечко млел, думая, что это — её безмолвный ответ на его бессловесную нежность. На самом же деле она цепенела от страха в ожидании удара. Она прочно привыкла к тому, что мужчина, называемый мужем,

* Вассал — друг и помощник рыцаря, тоже дворянин, только менее богатый.

должен её бить. Когда Ганс, постояв, отходил, — её начал мучить вопрос — отчего не ударил? Не нашёл — за что? Но ведь прежние мужья били, в общем-то, без всякой вины.

В этот раз Ганс задержался в лесу: выволакивали подводу. Молодая лошадь, запряжённая в первый раз, сдёрнула её в вязкую, илистую канаву. Домой пришёл в этот день поздно, когда солнце уже поднялось. Открыл дверь — и замер. Она мылась, стоя в деревянном корыте. Испуганно отвернулась, замерла, прижав к груди хвостатое липовое мочало. С боков её, со складок утруженного тела, стекала вода, смешанная с золой: мыла у них тогда не было. И он увидел белые-белые пятнышки и полоски на её серовато-смуглой коже и, холодея до хребтовой кости, понял, что это — следы побоев. Ганс, поднеся руку к её спине, — медленно, с небывалым трудом, словно к раскалённой плите, — положил ладонь между лопаток и так же медленно прильнул к её плечу бородой. Чуть распрямылся и ещё раз припал, и ещё. Свет небесный сошёл на неё спустя долгую, злую минуту: она поняла, что эти прикосновения — есть поцелуи. Ей вдруг разом открылось, *чем* были эти прикосновения его руки, и тягостный страх, накопленный за долгие годы, прорвался вдруг в ней, и не болью и ужасом, а сгустком нежной и трепетной силы. Жгучей судорогой. Маленьким Солнцем.

После этого дня, в природе отмеренный срок, она родила девочку. Их светлоголовую, тихую и улыбчивую Абигаль.

Священник, опухший от выпитого накануне, страдающий, но привычно надменный, полистав то ли греческие, то ли латинские книги, так и нарёк: Абигаль.

Всё-таки хорошо, что Ганс был при монастыре. Два года подряд свирепствовал голод. Сначала война — он плохо запомнил, кто и с кем воевал — спалила созревающие

посевы. Потом — засуха. Люди варили кору, ели крыс и мышей. Но кладовые монастыря всегда были наполнены впрок. Трёхлетняя Абигаль, которую пропускали на кухню, пробиралась оттуда в конюшню. Она пряталась в сене, а когда кладовой и служки, насыпавшие в ясли овёс, уходили, она светлым котёнком ползала между лошадиных копыт и, сковыривая неумелыми пальчиками с земли, отправляла в ротишко упавшие зёрна.

Ганс приносил из леса ягоды, жёлуди и грибы — но раз в неделю. А до этого им как-то нужно было прожить. А жене приходилось ещё и ходить в монастырь на подённую. (Монахи и умереть так просто не давали: не смей умирать, пока есть работа!) Вечером она спешила домой, а там уже спала, вытянувшись на чёрной от времени лавке, с двумя горсточками зёрен в животике, Абигаль. Мать смотрела на неё большими глазами и, отходя, искала в себе силы порадоваться: девочка тёплая, дышит легко. Шатаясь от голода и усталости, она разводила огонь, варила похлёбку — из грибов или кореньев осота и, прижав сонную дочку к груди, поила её тёплым и укладывала теперь уже на весь длинный ночной сон.

Они бы не выжили, если бы Ганс не сделал заранее великое дело. Два года подряд он не пил ни вина и ни пива, не справлял себе новой одежды и обуви, откладывал свои гроши и, поехав однажды на ярмарку, купил там пилу. В кузнечном ряду, среди лат и клинков, на самый простой из которых ему пришлось бы откладывать лет эдак двести, он отыскивал пилы и, хотя попадались хорошие, — не покупал. Искал — зная, что. И нашёл. Полотно надёжное, острое, зубья не сточены. А вот деревянная рама попорчена жучками. Цена, соответственно, ниже на треть. Пилу он купил (и тут же выбросил раму: внесёшь жучков в дом — источат всё деревянное), а на оставшиеся деньги купил жене тонкого, белого, *барского* полотна. Как раз на новую ночную рубашку.

О, хорошая пила — дело большое. Топором дерево удобно валить, а вот разделявать на короткие плети — это тратить лишние силы и время. Пилою — втрое быстрее.

Он сам смастерил новую раму и в первый же раз выполнил дневной урок ровно к обеду. Полдня свободных! Всё это время он обдирал ивовое лыко и притапливал его в недалёком болотце — чтобы размокло. Теперь будет не только грошик за хворост. Теперь будет ещё пара монет за циновки и туеса!

И вот, когда пришёл голод, он свои секретные полдня тратил на поиск всего съестного, что мог дать ему Лес. И грибы, и ягоды, и корешки осота. И смертушку в семью не пустил.

Абигаль шло восьмое лето, когда в село привезли отбитого у речных разбойников мальчишку. Чужестранца. Лет десяти. Еле живого. Вспомнив о взятых землёй сыновьях, Ганс упросил настоятеля купить мальчишку для монастыря. Он сам, дроводел, — не вечен. А тут — лет пять — и готовый работник. Сама судьба посылает подарок: давно пора бы выбрать кого-то, кому он мог бы передать дровяное своё ремесло.

Мальчишку купили. Задёшево. Ведь полуживой. Учёные монахи выспросили, откуда его завезли, несчастливый. По имени родины стали и звать: «Португалец».

МАЛЕНЬКИЙ ЕВНУХ

Нет мундштука. Нет! Словно и не бывало. Кальян — вот он, в ящике, стоящем в углу, под наброшенным сверху ковром, вернее — *стоявшем*. Ох, и погуляла в Ашотиковой комнатке чья-то глумливая, злая рука. Всё перевернуто — от угла до угла, разбросаны вещи, и стянут на сторону ковёр, и сундук опрокинут, и высовывается из него ограбленный, усечённый кальян.

Всё на месте, даже драгоценные безделушки, хранимые в шкафчике, — те, которые хочется видеть перед собой каждый день, а не томить во мраке собственной тайной сокровищницы. Мундштука — нет. Да пусть бы неведомый вор забрал всё, что здесь имеется, ведь есть тут вещи поценнее кальяна. Неведомый? Да ведь именно *багдадский вор* поклялся украсть этот предмет... Но в этом случае — он в самом деле должен проходить сквозь стены!

Ашотик поднял глаза. Решётка в окне. Человеку возможно лишь руку просунуть. Дверь дубовая, вечная, проклёпанная железными полосами. Два замка. Без ключей не откроешь. Замки Ашотик подбирал заморские, *для себя*. Ну а на пути к дверце — четыре дворцовые стены, четыре полосы стражи, десяток янычар — до гарема, а в гареме — Али. Нет, не пройти. Невозможно. Но кто-то, очевидно же, был в самой комнате! Ходил, двигал вещи...

В кальяне — Ашотикова жизнь. Узнает Хумим-паша, что в гареме, — о, Аллах! — *в гареме*, где его жёны, был кто-то чужой — тогда лёгкой смерти не жди. Вот тогда, кизляр, напоёшься. Хотя это — пугалки для детей, это — вряд ли. Смерть будет лёгкой. Вот он, флакон с бесценным, проверенным ядом, стоит на полке, стекляшкой пробки посверкивает. Этот путь у нас есть, это ладно. Сядет-ка Ашотик, да подумает — нет ли какого выхода получше.

Маленький, рыжий, с обиженным детским лицом человек пнул золочёной тупфлей ковёр, сел на опрокинутый ящик, поместил локти на колени, ладошками закрыл уши и стал думать.

Что смертный, маленький человек может в такой ситуации сделать? Имеются два решения: или разыскать проклятого вора и выкупить унесённый мундштук (деньги есть), или... Или изготовить новый! Нет, невозможно... Но, собственно, почему? Золото есть. Знакомый

ювелир — тоже есть. Нет двух вещей: шести, величиной с ноготь мизинца, сапфиров, и — о, проклятье! — самого мундштука, с которого можно было бы снять точный размер... Стоп! Есть! Не сам мундштук, конечно, а слепок! Ашотик даже забормотал торопливо, успокаивая понёсшееся вскачь сердце: «Тихо-тихо-тихо...» Он торопливо стал вспоминать события недельной примерно давности. Хумим-паша выехал на охоту. Да. Ашотика взял с собой. На тот случай, если захочется послушать сладкое пение после сытного, под сенью деревьев, обеда. Да. Подстрелили на берегу ручья пришедшую на водопой антилопу, да тут же на костре и изжарили. Паша и визири ели горячее мясо, запивали рубиновым лёгким вином, и... и потом Ашотик пел свои песни, а паша, лёжа, опершись на локоть, курил. Он курил свой кальян, и на лице его было сладкое, неземное блаженство. С этим счастливым лицом он и уснул. Визири, сняв туфли, принялись тихо снова по тенистой поляне, отгоняя маленьких голосистых птичек, которые могли почивающего пашу разбудить. А замолчавший на время Ашотик смотрел на спящего господина с лёгкой досадой и лёгким презрением: у того из вялой руки выпал мундштук ещё курящегося кальяна — и, откатившись, лёг прямо в мокрую прибрежную глину. И лежал там так, пока Хумим спал — два часа или больше. Ашотик делал вид, что не замечает, как валяется в глине драгоценный предмет, — иначе ему пришлось бы самому поднимать и оттирать мундштук, а с какой стати он должен пачкать свои белые холёные пальцы? Паша же, ворочаясь, откинул руку и ещё глубже вдавил мундштук в вязкое жёлтое месиво. Потом проснувшийся господин обронил короткое слово — и миг торопливая свита подхватила с земли избысканное походное снаряжение — и, конечно, кальян — подвели Хумиму коня и умчались. Ашотик готов был поклясться, что, подскакивая на невысоком своём жеребце,

он оглянулся на миг и заметил, что от мундштука, который лежал, вдавившись в глину, остался глубокий отчётливый отпечаток. Это — последний мостик на дороге к спасению. Пусть призрачный, шаткий, но, если он сохранился, — флакон с ядом можно на время вернуть на его место на полке...

Вскочил Ашотик и побежал в недра гарема, на ходу торопливо продумывая то неотложное, что следовало предпринять. Он пронёсся вдоль комнат Хумимовых жён, и потом сквозь длинный зал, где ютились совместно наложницы и жёны рангом пониже, и здесь, в уютной нише дальней стены — нише с оконцем и вентиляцией, предметом жгучей зависти и вожделения обитательниц гарема — нашёл то, чему в планах своих отводил чрезвычайно важную роль: юную, чистую, озорную змейку — Бигюль. Не тратя времени на объяснения, он схватил изумлённо вскинувшую на него глаза девочку за узкую ладонь и, потянув (Бигюль сидела над каким-то цветистым шёлковым рукоделием), поднял на ноги. И так, не выпуская её руки, протащил торопливо обратно. Здесь, когда они пересекали гаремный удушливый зал, кто-то бросил в спину девочке злое, язвительное слово. Как ни спешил Ашотик, а всё-таки резко остановился, нашёл острым взглядом дерзкую наложницу и, вытянув к ней толстый палец, зловеще и тихо сказал:

— Услышу сегодня ещё одно твоё слово — вечером из тебя суп сварю.

И скрылся за балдахином, отделяющим зал от анфилады привилегированных* комнат, и увлёк за собой гибкую, тоненькую подружку. Он не сомневался в том, что происшествие это повергло в ужас всех находившихся

* Привилегия — преимущественное право в чём-либо одного или нескольких избранных людей перед остальными.

в зале. Он знал, что несдержанная наложница ночью будет страшно наказана: ей растянут руки и ноги, на лицо набросят подушку и станут медленно душить, строго следя, чтобы не перестараться. Таким образом, на ней не останется следов от побоев, а страх перед повторением наказания поселится в ней если не навсегда, то очень, очень надолго. И уж конечно, мучить её станут не оттого, что так любят Бигюль и Ашотика, нет. А за то, что разъярённый кизляр мог наказать — и довольно жестоко — всех остальных, невиновных.

Мало заботило Ашотика то, что будет происходить в гаремных покоях после того, как одной фразой он навёл там жестокий порядок. Другим был озабочен. Своим, кровным. Втащил Бигюль в разгромленные покои, усадил на край перевёрнутого сундука и спросил:

— Если бы мне грозила смерть и для спасения потребовалось бы, чтобы ты обрезала свои волосы, ты бы сделала это?

Бигюль, на всякий случай оглянувшись (не подсмотрит ли кто), подскочила, метнулась к Ашотику, обхватила тонкими руками за шею и стала дурашливо танцевать, вовлекая покрасневшего толстяка в водоворот торопливых шажков, покачиваний, поворотов. Он, семена за хохочущей девочкой, изловчился, обхватил её и приподнял над полом. Притащил к сундуку и с силой усадил. Сложил ладони перед собой и, задыхаясь, проговорил:

— Это очень серьёзно.

— Серьёзно? — переспросила, медленно стирая со смуглого лица озорную улыбку, Бигюль.

— Очень.

И девочка тотчас, мотнув головой, перебросила длинные, почти что до пят, тяжёлые, чёрные косы со спины на грудь, вложила их, едва втиснув, в ладонь, а свободную руку протянула к кизляру:

— Где ножницы?

Он достал ножницы — тёмные, с блестящей наточенной кромкой. Нет, он не шутил. Разведя в стороны хищно клацнувшие железные лезвия, Ашотик взял девочку за подбородок и, шёлкая ножницами, состриг её волосы. Очень коротко и очень неровно. Затем нахватал торопливо со стен извести, копоти с пылью и всё это втёр в густой чёрный ёжик. Потом быстро сказал:

— Тебе нужно переодеться, — и подал стопку ветхой, маленького размера, одежды.

Через минуту перед ним, с милым лицом и озорным блеском в глазах, в коротких штанах и рваной рубахе, стоял мальчишка.

— Ты — Хасан, — проговорил Ашотик, ткнув пальцем в хрупкую грудь, прикрытую не цветным шёлковым платьем, а пыльной уличной тканью.

— Я — Хасан, — с готовностью согласился подросток.

— Плюнь на пол! — приказал мальчишке кизляр.

Тот постоял, двинул губами. Ашотик смотрел. И тогда тот действительно плюнул. Неуверенно и неумело, только губы обрызгал.

— Вот как надо! — сказал строго Ашотик и показал.

Мальчишка несколько раз повторил. Наконец, вышло неплохо.

— Ты должен вести себя, как уличный мальчик, мой милый Хасан, — положив ладони на хрупкие плечи, глядя прямо и пристально в большие, чёрные и внимательные глаза, стал тихо рассказывать толстый кизляр. — Ты должен бегать босиком по Багдаду, вертеться на рынке, как бы желая что-то стащить, но никогда не воруй. Смотри, как ведут себя остальные мальчишки, и подражай им. Ты должен уметь сидеть на корточках, бегать, перелезть через стены. А теперь слушай главное. В благословенном городе, тысячелетнем Багдаде тебе надо суметь разыскать того, кто зовётся между людьми Багдадским вором. Разыскать и от моего имени предложить выкупить

похищенный у меня мундштук от кальяна. Золотой, с шестью синими самоцветами. На шее у тебя, под рубашкой, будет висеть кольцо — печать Хумима-паши, и, если попадёшь к стражникам или янычарам, должен сообщить, что ты — личный поставщик кизляр-агасу всяческих редкостей, которые привозят и продают в порту иноземные моряки. Будут к твоей рубашке пришиты два кошелька с монетами, и в поясе будут монеты — всё мелкое, чтобы лишней зависти не вызывать. Страже у ворот о тебе будет сказано, и ты можешь в любое время — и днём, и ночью, как войти, так и выйти. Или обратиться за помощью. В одном дворике во дворце есть заброшенное караульное помещение. Я расскажу, как туда пробраться. Там будет запас еды и бочонок с водой. А в одной из стен дворика, на высоте в три твоих роста, есть тайный ход. В закрывающей его плите просверлено неприметное отверстие. Сквозь него я спущу тонкий шёлковый шнур, и ты, дёрнув три раза, сможешь меня вызвать.

Он минуту помолчал и закончил:

— Вот так, бесценный мой друг. На всё это у нас — только два дня. Самое большое — три. Если я не верну мундштук от кальяна через два — или, если не хватит проклятый Хумим — через три дня, то буду подвергнут мучительной смерти. И, чтобы её избежать, я приму яд. Теперь веришь, что всё это очень серьёзно? И кроме тебя мне довериться некому. Моя милая, милая девочка.

Уже через полчаса, сделав необходимые распоряжения, Ашотик вернулся в гарем. Он не вошёл, а ворвался, пронзительно провозгласив короткое страшное слово:

— Али-и-и!!

Немедленно выбежал его главный гаремный слуга, свнук Али, очень высокий и невероятно худой, со свисающими до колен жилистыми руками.

— Али! Бери лук и стрелы, бери свой ятаган — и быстро во двор! Коня ждут!

И через минуту из дворика, прилегающего к гарему, бешеным галопом вынеслись два коня, — громадные, вороные. На одном сидел, низко пригнувшись к гривастой шее, долговязый Ашотиков стражник-палач, силой и нечеловеческой безжалостностью превосходящий всех Хумимовых янычар. На втором — нелепо подпрыгивающий, с ножками, вдетыми в короткие стремяна, вцепившийся в гриву коня маленький, в роскошной одежде толстяк. Они вылетели за главные дворцовые ворота, предусмотрительно отворённые привратными янычарами и, оказавшись за городом, взяли уверенное направление в сторону леса, в котором неделю назад охотился Хумим-паша, подстреливший тогда маленькую антилопу. Ашотик и по лесу скакал — словно по открытому полю, подгоняя могучего жеребца, не обращая внимания на больно секущие ветки. Домчались до знакомой поляны, и здесь раскрасневшийся, разгорячённый кизляр спрыгнул на землю, перебросил поводья своему длиннорукому спутнику и приказал:

— Дальше — ни шагу!

Приказал и, семена и подскакивая, побежал к тому месту возле ручья, где отдыхал в тот памятный день уставший паша. «Ах, не размыли бы глину дожди! Не затоптали бы антилопы! Не иссушил и не выкрошил бы кромки оттиска жаркий ветер...»

Нет! Ашотик упал на колени. В подсохшей уже, твёрдой глине виднелось отчётливое углубление от впечатавшегося по всей длине мундштука. Кизляр торопливо сорвал с себя роскошный шёлковый доломан и, бросив его на землю, накрыл драгоценное место. Потом прибежал назад, на край поляны. Вытащил из хурджуна* пару плотных мешочков, калебасу** и, досадливо отпихнув

* Хурджун — восточное название дорожной сумы.

** Калебаса — сосуд из высушенной тыквы.

длинную морду потянувшегося к нему коня, поспешил обратно. Присел возле ручья, набрал в калобасу воды и горсть за горстью стал сыпать в неё из двух мешочков порошки разного цвета: мел и клей. Замесив желтовато-белую кашицу до состояния жидкого теста, поднял доломан, тщательно выдул из ямки-отгиска пыль и крупинки песка и вылил в очищенное углубление содержимое калобасы. Затем, нетвёрдо ступая на подрагивающих ногах, вошёл в ручей до колен, омыл лицо и напился. Вернулся, расправил на земле доломан, лёг и блаженно вытянулся.

Через четверть часа Али подвёл к ручью остывших лошадей, и, пока они пили, Ашотик медленно изъясил из ямки затвердевшую копию мундштука. Намотал на него толстый слой ткани, бережно уложил в хурджун. Али протянул руку — помочь кизляру подняться в седло, но тот опять убежал к заветному месту. Здесь он, несколько раз подпрыгнув, разрушил и затоптал отпечатанный в глине след мундштука.

Снова пустив коней в галоп, вернулись назад, но поехали не во дворец, а к знакомому многим в Багдаде дому ювелира Бахти. О нём было известно, что Бахти заказчиков не обманывает, золота оловом не портит и украшения делает безупречные.

Вбежав в полутёмную, душную мастерскую, Ашотик радостно простонал: ювелир был один. Не произнеся даже привычного и обязательного приветствия, Ашотик прильнул своё лицо к лицу ювелира и зашептал:

— Брось все заказы, Бахти! До вечера отлей мне из золота вот этот предмет!

И, развернув тканевый кокон, вложил в руку мастера меловой белый слепок.

— Денег дам — сколько скажешь! Здесь, как видишь, ещё будут сапфиры, — я привезу их вечером или завтра.

— Мундштук от кальяна! — догадался, взглядевшись в слепок, Бахти.

Ашотик, словно ужаленный, вскинул вверх палец и зловеще проговорил:

— Я заплачу не торгуясь! Но только запомни: услышит кто, что ты сейчас произнёс, хоть одно ухо, — я напою тебя твоим же расплавленным золотом!

Мастер испуганно и торопливо склонился в глубоком поклоне, и кизляр Хумима-паши, взмахнув полами испачканного глиной доломана, выбежал из мастерской.

ЗОЛОТАЯ КОРОНА

На кладбище пошли только вдвоём, и пошли ночью. Долго ползли на животах. Селим морщился: острые камешки больно впивались в колени и локти. Несколько раз приносились к ним громко лающие собаки, но старый Касым-баба рукой умелой и опытной эту напасть отводил. Он, подворачиваясь набок, выхватывал из хурджуна куски сырого мяса, — мосластые, с жилами, — и отбрасывал в сторону. Голодные бездомные псы своё ненужное любопытство немедленно заменяли на погоню за тем, кто ухватил мясо первым, и на драку между собой.

Приползли.

Касым-баба открывал секреты. Не показывал, не учил. *Посвящал.*

— Единственное здесь надгробие, — толкался его жаркий шёпот в Селимовы уши, — где в вертикальной плите знак полумесяца прорезан насквозь. В лунную ночь его хорошо видно издалека. Слева под надгробием нащупайка ямку... Что в ней?

— Цепь!..

— Потяни её дважды.

— Потянул. Теперь что?

— Теперь жди.

Лежали на нехолодной ещё, накопившей дневного солнечного тепла, надгробной плите. Ждали чего-то. Время от времени прилетал ветерок, приносил аромат кипариса. Вдруг Селим вздрогнул: камень с полумесяцем стал медленно двигаться вверх! Он как будто вырос из плиты, поднимаясь на двух квадратных ногах, между которыми так же рос и увеличивался чёрный проём. Пустота. Ушёл камень вверх, обнажив под собой квадратный, не очень широкий, то ли люк, то ли лаз. Впрочем, какая разница?

— Спускайся туда, — прошептал ободряюще Касым-баба. — Ты высокий, твои ноги должны достать до первой ступени.

Влезли, прыгнули в темноту. Послышался шелестящий звук крутящегося, железного, хорошо смазанного колеса. Камень опустился. Встал на место бесшумно и быстро. Только в конце раздался лёгкий, ни на что другое не похожий, знакомый немногим лишь мастерам-камнетёсам звук трения камня о камень.

Исчез бледнеющий над головами квадрат. Раздались удары кресала о кремень. Тусклым огоньком взялся фитиль и поджёг масляный факел. Под каменным сводом стало светло, внизу же цеплялась за ноги клочковатая тьма. Впустивший их в подземелье незнакомый сторбленный человек, подняв свет над головой, засеменял по неразличимым под ногами ступеням. «Восемнадцать», — машинально сосчитал Селим. Небольшая площадка — и снова вниз. Ступени теперь были чуть шире и закручивались по спирали. «Сорок четыре». Горбун проворно прыгал вниз. На руках и плечах его поблёскивало и звенело настоящее золото. Цепи, обручи, украшения. И — корона на голове. С зубцами. В самоцветных глубоких камнях.

— Пришли. Поздоровайся, — часто дыша, негромко выговорил Касым-баба.

— Приветствую тебя, золотая пещера! — воскликнул наученный заранее Селим и обвёл всё вокруг потрясённым взглядом. — Здравствуй, великая тайна Багдада, — сказал уже тише и добавил — теперь от себя: — Выходит, ты существуешь? Выходит, ты — вовсе не сказка?

— Не знаю я человека, — захихикал золочёный горбун, — который в этом с тобой согласится. Это как раз и есть сказка! Смотри! Смотри! Не сказка? Смотри!

Ощущения были такими, что в них не очень-то верилось. Блеск драгоценных металлов и огни самоцветов слепили до головной боли, но и не смотреть было невозможно. А ещё лезла в грудь копоть от факела, как раз в то самое время, когда страстно хотелось взхлёб набросать туда свежего воздуха.

— Пойдём, Твоё внезапное Величество, — положив сухую ладонь Селиму на плечо, устало проговорил Касым-баба.

Как зачарованный, Селим пошёл, влекомый горячей силой нетяжёлой и, в общем, несильной руки.

— Всё, что ты видишь, — и слева, и справа, — это общее. То есть принадлежит всем в общине. Тебе, разумеется, тоже. Эти сокровища тратятся с общего согласия и на общее дело. А вот в пещерах — ты видишь эти проёмы? — это пещерки, — в них стоят сундуки с замками. Здесь старые воры Багдада хранят часть имущества, которое там, на земле, было бы очень заметно. Ну и потом, — это ты, наверное, знаешь и сам, — весьма неразумно держать все свои сокровища в одном месте. Ты теперь можешь принести и собственный сундучок. Здесь он будет в большей безопасности, чем в гареме падишаха...

Касым-баба выговорил последние слова, запнулся, растерянно взглянул на Селима и вдруг визгливо, пронзительно, как сумасшедший, расхохотался. Ему хрипло вторил горбун.

— Безопаснее!.. Чем... В гареме! И это мы говорим ему! Ему, хитрейшему вору, который вынес мундштук из этого самого гарема!!

— Вот он, вот, — всхлипывая, проговорил сбегавший куда-то горбун.

В руке его, в свете факела, мерцал и светился тусклый и, казалось, влажный, словно яичный желток, золотой Хумимов мундштук.

— За всю историю пещеры, — пытаюсь отдышаться, принялся пояснять Касым-баба, — крупных сапфиров у нас было всего пять. Такие камни мы ценим. Сапфир — сам по себе уже талисман. Это камень судеб людских, да и не людских тоже. Но не так давно один мы отдали: нужно было спасти от палача двоих наших людей. Их схватили при странных обстоятельствах, и подозреваю я, что конечной целью этой затеи было обретение именно крупного чистого сапфира. Мы заплатили. Отдали один из пяти. Причём сначала хотели подсунуть камень с дефектом, — был один с крохотным сколом. Но нет. Пришлось заменить. Осталось четыре. Ну а ты вдруг принёс сразу шесть. Шесть! И в золоте. Конечно, вопрос был спорный — отдавать тебе корону или не отдавать, — многие внесли в общую копилку гораздо больше, чем ты. Но уговор нарушить нельзя. Никто не верил, что ты выкрадешь этот предмет из гарема. Потому и легкомысленно пообещали, что ты станешь тогда Главным вором. Как ты это сделал — конечно, не скажешь. Не скажешь ведь?

Касым-баба с некоей даже мольбой заглянул снизу в глаза Селима. Тот, потерянный и ошеломлённый, готов был, как ни странно, поведать, но старик опередил события:

— Конечно не скажешь.

Он вздохнул.

— Но мундштук ты принёс, и все наши смотрели на него, и никто не посмел отрицать, что мундштук —

именно тот. Так что делать было нечего. Слово сказано. Теперь ты — Главный Багдадский вор. Решили. Вот твоя корона.

— А общей сходки разве не будет? — неуверенно спросил Селим, принимая снятую горбуном со своей косматой, с острой лысой макушкой головы корону.

— Вот потому мы и целы пока, — хихикнул Касым-баба, — что живём так, как людям *сверху* было бы странно. Мы никогда не собираемся все вместе. Дело решает лишь мнение, голос, верно? Ну а голос узнать — труда нет. Послать Бая Скорохода — и он за день сможет обойти всех. Хотя было такое, — случалась нужда обсудить дело немедленно и в присутствии всех. Но и тогда мы собирались не в пещере. Это понятно? Вот, а мнения о твоём короновании собрали за один день. Этот вопрос был прост. Все-го-то и сложности, что оценить подлинность предмета. Ох, и летал же в этот день мундштук по Багдаду! Шуму ты наделал, как в тот раз, когда снял со спящей жены главного кади шейное ожерелье в присутствии спящего мужа. Был слух, что ты проходишь сквозь стены. Тогда многие из наших над этим смеялись. Сейчас не смеются.

— А кто же устроил эту пещеру? — с усилием сглотнув, поинтересовался Селим.

Старики снова засмеялись. Высокий, худой юнец, в криво надетой сверкающей острозубой короне, стоящий с неловко повисшими руками в прыгающем свете факела, — он был забавен.

— Этого никто не помнит. Известно лишь, что это было больше тысячи лет назад, ещё до Аббасидов. С тех пор тайна её передаётся мастерами чужого кармана от поколения к поколению, и ни разу ещё никто непосвящённый не коснулся хоть сколько-то внятного знания о ней.

Касым-баба пригласил присесть. Присесть было за что. Стоял у стены длинный каменный стол, зелёный, с прожилками. Возле него — тяжёлые, как будто железные

стулья, отделанные, похоже, серебром. Чёрным серебром, старым. Горбун шумел где-то за стенкой, приносил то и дело блюда, приборы, закуски, вино.

— Он что же, вот так здесь и живёт? — негромко спросил Селим. — Жить под землёй — это ведь трудно!

— Трудно. Только не для него. Вот видишь, Король, сегодня тебе открываются странные вещи. Пещера, законы, хранитель-горбун... И вот — золото. Что оно такое? Ты думал? Удивлялся ли ты когда-нибудь его странной, невидимой силе, которая заставляет людей лишаться ума, убивать себе подобных, мучить вдов, грабить сирот, лжесвидетельствовать и предавать? И всё это только ради владения им, жёлтым тяжёлым металлом. Я удивлялся. И думал. И старых людей спрашивал. Все считают схоже. Золото — не обычный металл. Он не мёртвый.

— Живой?

— Нет. Не живой. Но и не мёртвый. Ты молчи лучше, мальчик. То есть Король. Всё, что я знаю, — открою сполна. Если не сможешь обойтись без вопросов — задавай их себе. У меня больше не будет ответов. Не живой и не мёртвый. Просто в нём шайтанская, *блзная* сила. Это бесспорно. А иначе зачем оно любит купаться в крови? Требует крови, но и платит сполна. Нечеловеческим, высшим из всех удовольствиям: ощущением всевластья. Ты уже чувствовал его? Да? Когда карман полон денег, и тебе можно всё. И все тебе покорны. Где же прячется сила, что подчиняет тебе события, вещи, людей? Правильно. Она всегда там, в кармане. И вот же, как только ты ею пользуешься, — её видят другие. И тут уж дело во времени, — когда потечёт твоя кровь, а золото истомлённо кинется в новые жадные руки. Золото даёт временное удовольствие. А платой за это берёт саму жизнь. Так было всегда. Дьявольская, неодолимая магия.

Есть имущие люди, смерть которых щадит, но которые с жёлтым металлом неосторожны. И они за многие

годы пропитываются наслаждением его присутствия, становятся отравленными, связанными. Они без него жить не могут. То есть буквально! Вот, горбун не может уж красть, он не добычлив, он бесполезен. Но здесь — он всем нужен. Именно в силу своей страсти — видеть золото каждый свой миг, звенеть, пересчитывать. Он спит с ним, играет, носит на себе, хотя и тяжело. Открою секрет: он пробовал его даже есть. Долго мучился, пока монетки проходили по его старым кишкам. Пришлось тайно тащить сюда усыпленного лекаря. Впрочем, лекаря потом, для надёжности, здесь же и закопали.

Приковылял горбун, принёс на себе звенящую жёлтую сбрую. Принёс и вино, и бокалы. Конечно же, жёлтые, золотые.

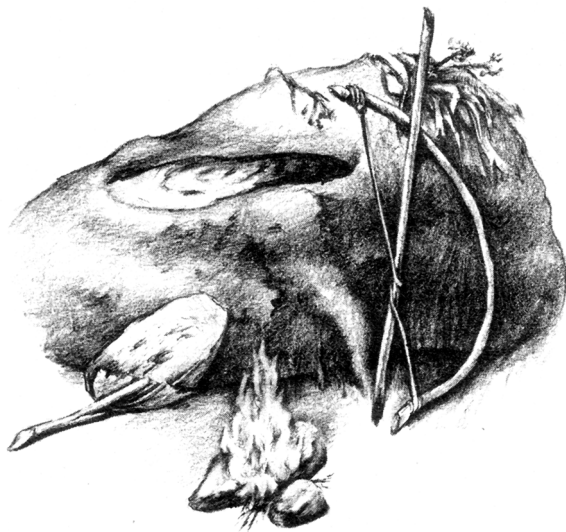
— Лучшие застолья — это застолья втроём, — важно сообщил Касым-баба. — Ну и коронавания тоже! Глазам не приходится бегать, и многоголосье в уши не лезет. Знай, Король: хочешь отдыха для души — пригласи двух друзей.

— Или двух женщин! — подмигнул и прихлопнул в ладоши горбун.

— Да, но тогда будет потяжелей! Даже если ты молод. А всё же, как тебе удалось миновать гаремную стражу?..



Глава II
КАМЕННЫЙ КОТЁЛ



— А ты уверен, что не допускаешь ошибки? — однажды спросила меня Эвелин. — Коран запрещает правоверным пить вино, откуда же во дворце у Хумима столько кувшинов крепкого коньяку?

— Безусловно, могу ошибаться в деталях, — ответил я после раздумья. — Но сам факт имел место. В Багдаде о нём помнят. И не мудрено: много шума наделал. Что же с того, что Коран запрещает пить хмельные напитки? Коран не велит быть гневным, а велит быть милосердным, но сколько крови людской пролили называющие себя приверженцами ислама? Реки! Такие, что всего забвения Прошлого не хватит, чтобы их скрыть. Сам же Хумим говорил, что сура о запрете вина — для тех, кто характером слаб и владеть собой, опьянев, не умеет. А он — умеет. К тому же пьёт мало. Вреда от этого нет.

И ещё — прошу обратить внимание: я не делаю выводов. Я просто рассказываю.

СЛЕД ОБОРОТНЯ

Не двигайся, — сказал человек Бэнсону. — Я перетащу тебя в тень. Здесь слишком солнце палит.

До странности цепкими и сильными оказались руки у небольшого, в общем-то, человека. Накрутив на правую кисть ворот Бэнсоновой куртки, он крепко упёрся пятками в землю, осторожно, медленно сдвинул массивное тело и поволок, птясь задом. Он не помогал себе второй рукой, — левая ладонь его придерживала разбитую голову Бэнсона.

Въехали под сень крайних на поляне деревьев, протаскились чуть дальше, в сторону от тропы. Здесь человек в коричневом балахоне повернул Бэнсона на бок и закрепил его в таком положении рогатой палкой, приставленной со спины.

— Тебя может стошнить, — сказал он, приблизив лицо к глазам Носорога. — Не скатись на спину, — захлебнёшься. Двигаться сможешь не скоро. Слышишь меня? Если да — прикрой глаза.

Бэнсон сомкнул и развёл непослушные веки.

— Хорошо. Я вернусь к тебе. А сейчас мне нужно бежать. Догнать я их не успею, с этим придётся смириться. Главное сейчас — убедиться, что ушли они к дороге и к порту, а не метнулись петлёй по лесу. Я побегу. Пока трава примята да птицы распуганы. Ты лежи здесь и помни: я непременно вернусь.

Носорог отчаянным усилием разлепил спёкшиеся в клейкой солёности губы, отпустил подбородок.

— Что? — ухватил монах это движение внимательным взглядом. Почти вплотную приблизил лицо.

— Фут... ляр... — прошептал Бэнсон, пересиливая боль от бьющих в затылок огненных молотов.

Человек в капюшоне замер на миг, бросил взгляд на

покинутую поляну. Снова склонился и задал самый умственный вопрос — не о том, что за футляр, какого размера, где оставался, — а спросил тревожно и быстро:

— Что в нём?

— Ар... балет.

Тень легла на худое лицо.

— Вот это уже скверно.

Монах выпрямился, плавно шагнул. Беззвучно мелькнуло и впрыгнуло в руку жёлтое тело железной змеи.левой рукой он сдал ткань балахона у пояса и быстрым рывком подтянул его кверху, протягивая под поясной верёвкой. Ноги спереди открылись до середины голеней. И монах побежал.

Он нёсся пригнувшись; прыгал пружинисто, длинно, развернувшись чуть боком, и каждый следующий прыжок уводил чуть в сторону. Влево — вправо, влево — вправо. Для того, кто готовил бы прицельный выстрел, он вёл себя очень плохо.

Поглядеть со стороны — резвится бегущий по лесу подросток в длинном плаще с капюшоном. Вот только двигается слишком быстро для игры. Да посверкивает на уровне пояса недлинная жёлтая лента, один конец — в правой руке, второй — в левой.

Вдруг взгляд его что-то схватил, и мгновенно монах растворился, спрыгнул с тропы. То и дело оглядываясь на толстый ствол стоящего у тропы дерева, он описал широкий круг, обошёл дерево и встал на тропу с другой стороны. Постоял, огляделся. Сказал сам себе:

— Нет, не для засады. Просто хотят задержать. И пути не меняют. В порт ушли, несомненно.

Повернулся, спрятал клинок и быстро пошёл, возвращаясь по тропе, к дереву. Открыто уже, не таясь. Вдруг на ходу стал приплясывать и смеяться.

— Всё! — воскликнул он, ритмично подпрыгивая и хлопая в ладоши. — Они убежали! Теперь я тебя спасу!

На земле у дерева, спиной к стволу, сидел мальчик. Правый его кулачок стискивал отвороты курточки под самым горлом. Костяшки маленьких пальчиков побелели. Кулачок мелко дрожал. Мальчик смотрел ясными, бесслёзными глазами, только морщился и, оскаливаясь, шипел от боли. Левая рука его была поднята вверх и прибита к стволу прошедшим сквозь ладошку узким, стальным, похожим на шило стилетом.

— Топ-топ-топ, — напевал Альба, громко смеясь, — и вот в последний раз «топ». Теперь я тебя спасу. Очень быстро. Потому что вон я как славно умею плясать.

Мальчик поднял лицо вверх, к руке.

— Сейчас мы вытащим эту колючку, — сказал беззаботным тоном монах. — Потом будем пить чай. Ты знаешь, какой бывает чай? Очень-очень разный. Он бывает привезённый из Индии, из страны, где живут слоны. Или с большого и дикого острова под названием Цейлон. Но, знаешь, он даёт только запах, а вот силу — не очень. Если же чай сделать из трав — нужно только уметь найти их в лесу — о, тогда это будет... Тогда это будет...

Он внимательно оглядел скрюченные, побелевшие маленькие пальцы, торчащую из середины ладони железную рукоять стилета. На торце она была присыпана белым. «Камнем заколачивали. Не вытащить. Сломать? Но как? Если сталь лопнет внутри ладони, вмякоть уйдут осколки... Нужно ломать возле самой рукояти. Судя по блеску, сталь прокалена хорошо. Не гнётся...»

— ...Тогда это будет и чай, и лекарство.

Он вытащил Кобру, приставил ребром к основанию страшного лезвия, взял стилет на излом... Ударила в грудь отскочившая рукоять, звонкий щелчок прокатился по лесу. Мастер быстро взглянул мальчишке в лицо. Нет, рану не потревожили. Славно.

Теперь из ладони торчал короткий, серый на сломе штырёк. Осталось снять ладонь с него. Но, конечно, без лишней боли.

— А знаешь, недавно на ярмарке клоун какую песенку интересную пел? — спросил монах. — Вот послушай.

А сам незаметно взял в кольцо твёрдых пальцев тонкое запястье прибитой руки, медленно сжал. Говорил, пел, говорил, пел, а сам всё сильнее сжимал тонкую детскую руку. «Пусть онемее...»

— ...Вот, а в конце он так крикнул, что всех оглушил! Вот дай-ка мне ушко, я покажу тебе — как!

Монах склонился пониже и выкрикнул:

— А!!

Мальчик качнул головой, спасая оглушённое ухо, а монах осторожно подвёл к его груди освобождённую руку.

— Посиди так, — попросил голосом ровным и тихим.

Метнулся вдоль по тропе, несколько раз наклонился. Принёс два широких зелёных листа и пару тонких длинных стеблей. Потёр листья друг о друга, — на них выступила жирная, влажная зелень, — и залепил этой зеленью с двух сторон сквозную тёмную рану. Осторожно перемотал кисть поверх листов тонким стеблем. Связал концы в узелок. Закончив, весело произнёс:

— Теперь, малыш, идём. Я познакомлю тебя с одним моим другом.

Медленно они поплелись по тропинке назад.

— Ты, малыш, прислони больную руку к груди, а другой рукой поддерживай её снизу. Скоро услышишь тепло. Это называется — рука руку лечит. Вот, а теперь, чтобы не было больно, — ведь больно, я знаю, — мы с тобой скажем волшебные слова. Повторяй за мной...

Они медленно шли и распускали ниточку древнего проверенного заклинания:

Вот берёзовый листочек,

Словно маленький плоточек,

*На волнах качается,
Боль моя кончается...*

— Ты знаешь, что такое «плоточек»? — поинтересовался монах.

— Плотик? Маленький плот? — прошептал впервые ребёнок.

— Молодец! Ты говори и представляй себе: свежий зелёный листок, качается на воде, словно крохотный плот. И медленно тонет. Качается на воде, качается и тихо так опускается вниз. А с ним тонет и уменьшается боль. И вдруг — вовсе пропала!

ЧАЙ НИОТКУДА

Бэнсон шёл к ним навстречу.
— Вот это да, — проговорил озадаченно мастер. — Вот это здоровье!

И, обращаясь уже к малышу:

— Вот — мой друг. Не помню только, как звать.

— Я Бэнсон, — Носорог с трудом разлепил сухие горячие губы.

— Здравствуйте, Бэнсон. Это Филипп вас ударил. А я — Симеон.

— А я — мастер Альба. Сейчас будем пить чай.

— Нет воды, — сообщил, подняв личико вверх, Симеон. — Нет котелка, нет огня и нет чая.

— Лес, хороший ты мой, всё это даст. Вы посидите-ка здесь, а я кой чего поищу...

— *А они?* — мальчик тревожно вскинул глаза.

— *Они* убежали. Навсегда.

— Ой, они очень спешили!

— Это понятно, — усмехнулся монах, и усмешка его вышла недоброй.

Вскоре он вернулся. Учащённо дыша, подошёл к сидящим в тени.

— Следуйте за мной, господа англичане! — довольно сказал монах. — Поверьте мне на слово, — нам повезло!

Альба привёл их на другую поляну. Всю в круглых камнях. Прошли ещё глубже в лес. Приблизились к большому, в рост Симеона, валуну. В одном из выступов его, сверху, была вмятина, яма. Шириной в локоть. В ней скопилась дождевая вода. Альба палочкой повыбрасывал из неё какой-то невидимый мусор, вздохнул облегчённо.

— Вот, джентльмены. И котелок вам, и вода. Теперь будете жить.

— Этот вот камень — он что, котелок? — спросил, взяв здоровой рукой Носорога за палец, озадаченный Симеон.

— Давай посидим, — отозвался после долгой паузы Бэнсон, и сел, и закрыл бессильно глаза.

Они устроились рядом, прижались друг к другу.

— Я буду смотреть, — прошептал Симеон.

Альба коричневой быстрой совой мелькал по поляне. Сволок в кучу камни, ветви, сухие смолистые сучья. Взял гибкую ветку, привязал к её концу волокно верёвки. Потом волокно обернул вокруг тонкой круглой палочки, и другой конец завязал на втором сломе ветки, согнув ее в виде лука. Поставил палочку вертикально, так, что лук оказался сбоку, упёр её в сухую колоду, а верхний конец придавил плоским камнем, что держал в левой руке. Правой же потянул — повёл луком, и палочка, оставаясь на месте, завращалась, охваченная бегущей по ней тетивой. И забегал смычок, и замелькала с невиданной скоростью палочка. Скоро от нижнего её конца, из колоды, поднялся дымок. Ещё немного — и колодная труха, и сухие травинки, корчась, выдавили из себя огонь. Альба схватил его новым, большим уже комом травы, подкормил сухой хвоей, раздул огонь.

— Последите за костром, джентльмены, — попросил мастер, обращаясь в основном к Симеону.

Наломал, набросал в огонь сучьев, закатил зачем-то в самый жар десяток небольших круглых камней и поспешно отправился в заросли. Когда он вернулся, под капюшоном светилась улыбка, а в руках был целый пук листьев, веток и травы.

— Даже ком паутины принёс, — сообщил он, доставая с груди что-то липкое, серое.

— Паутину делают паучки?

— Да, малыш, они самые. Тебе-то мы свежую рану подорожником залепили, а вот у Бэнсона рана на голове засохла. Теперь её отливать, да клочья кожи как надо укладывать, да слеплять паутиной. Очень, запомни, полезная вещь.

Костёр прогорел. Альба разложил аккуратно в ряд травы, потёр ладони над опадающим, вялым уже огнём. Выкатил из углей камень, да обернул — охватил его травяным жгутом — травы зашипели, закорчились, стали стремительно менять цвет на коричневый — да и бросил всё это в ямку с водой! Охнула, зашипела вода, взлетели от упавшего камня наверх пузыри. Немного подождав, Альба выхватил травами, как рукавицей, новый раскалённый кругляш — и в воду. И половины камней из костра не достал, — а вода уже закипела. Потянуло вдруг по поляне травяным баннным духом.

— Теперь подождём немного, пусть остынет, — сказал Альба и снова ушёл.

Ушёл, доставая на ходу из-под руки спрятанный под балахоном клинок. Принёс несколько квадратов берёзовой коры. Свернул бересту в конус, расщепленной палочкой скрепил края. Вот вам и кружка...

Напоил нежданных своих пациентов невиданным чаем. Накалил новых камней и новых накипятил трав. Теперь промыл и перевязал подорожником раны. Между высоких

корней огромной сосны выскоблил землю, устелил мягкими лапами еловых ветвей. Улеглись рядом Бэнсон и Симеон и тотчас уснули.

— Хорошо, Альба, — похвалил себя монах. — Теперь будут жить. Пантелеус был бы доволен.

От земли, вверх, по древесным стволам тихо полз вечер. Альба разложил три костра — два по бокам, один у спящих в ногах. (Те даже не шевельнулись.)

— Мухомора не пожалел, — улыбнулся мастер. — Снов они не увидят.

Долгая, наполненная звуками, ворочалась ночь. Три огня приплясывали подле дерева, оевали спящих теплом. Сидел и молчал возле них небольшой человек с низко опущенной головой, накрытой колпаком старого капюшона.

Симеон попискивал во сне, как птенец.

Утро проспало. Солнце приподнялось над деревьями, давно прогорели костры. Сидевший долгое время неподвижно, монах встал, вздохнул, выпростал руки из рукавов балахона. Подошёл к спящим. Склонился, внимательно осмотрел пальцы и ладонку у Симеона. Нет ни опухоли, ни красноты. «Хорошо».

— Альба, — сказал, не поднимая головы, Бэнсон.

— А как тебя Томас звал? — вопросом на вопрос ответил монах.

— Бэн.

— Хорошо. Так что, Бэн?

— Ты человек?

— Человек. Причём самый обыкновенный. Отчего это ты спрашиваешь?

— Ты приходишь, как с неба. Когда рядом смерть. И спасаешь. Меня вот — второй уже раз. За мою очень короткую жизнь.

— Случайность.

Помолчали немного. Потом Бэнсон, с усилием сглотнув, прошептал:

— А вот *они*... Кто это был?

— Звери, — спокойно и равнодушно сообщил Альба. — Звери бешеные. Патер их — в моём представлении — на сегодняшний день самый страшный человек на Земле. Древний паук. Плодит гнёзда ужаса и страданий. По старой инквизиции тоскует. Чёрный философ. Тренированный охранник его — Филипп из Йорка. Бывший Йоркский палач. Девочка — просто способная ученица. Убийца-ремесленник. Хотя и не законченная злодейка. Над ней просто с жутким умением поработали. С раннего детства. Для того же был и Симеон предназначен...

Бэнсон в немой ярости вздрогнул, передёрнул плечами.

— А нас, выходит... Мы должны были задержать тебя?

— Вы и задержали, — улыбнувшись, сказал Альба. — Они своё дело знают. Да я их вряд ли догнал бы. Я очень устал, а они — свежие. Вспугнул — и то ладно. А то, что не дал пробиться в Девять звёзд — ещё лучше. Не пустил в подземелье. Они теперь сели на корабль и пошли куда-то в неведомое, надёжное место. Только патер не подозревает, что я знаю, где можно о месте-то этом узнать. Пожалел я в прошлом одного неправильного человека, не до него было. Теперь он кое о чём порасскажет.

— А они вчера — сразу в порт?

— Сразу. Ещё трёх человек убили.

— Где, когда?

— Как только вышли на дорогу. В то время примерно, когда я костёр разводил. Адония остановила первых трёх случайных всадников. Филипп их убил.

— Откуда ты знаешь?

— Да иначе не может быть. Им лошади были нужны. Ведь я шёл по следу, тут они кровь не считали. А если остановили карету — то перерезали всех, и тогда уж не троих, а побольше. Умчались верхом.

— А что теперь мы?

— Ты — домой. Поохотился, хватит. Симеона возьми к себе. Мне бегать придётся. Я заберу его потом. Отвезу к Серым братьям.

— Я не охотился, — тоскливо проговорил Бэнсон. — Я к Тому на выручку ехал.

— Разве Том не в Бристоле?

— Да нет. Тут дело такое...

За полдень дошли до дороги. Шли медленно, так что Бэнсон успел многое рассказать.

В порту Альба ненадолго их оставил, а сам скрылся куда-то. Вернулся — как будто и не было бессонной ночи и длинного перехода: бодрый, довольный.

— Есть корабль. Уходит сегодня. Вот только денег нет. Сейчас попробую достать...

— Деньги есть, — поспешно сказал Бэнсон, прикасаясь к поясу куртки.

— Судовладелец просит много.

— Хватит на всё. Я в дорогу-то собирался дальнюю.

Альба кивнул.

— Ну да, если знать о подарке сэра Коривля, — деньги у тебя быть должны. Хорошо. Поедем пока на твои.

ПОЕЗДКА В ТРЮМЕ

Когда есть деньги — любое дело устраивается быстро. Троицким путникам отвели тёмное, но уютное место в углу трюма и даже накормили обедом из общего корабельного котла. Ночью под плеск волн за бортом Бэнсон разговорился со своим спасителем.

— Альба, — говорил он полушёпотом, — я рад, что нам по пути. Для меня это просто удача. Я ведь не знал, что он настолько непрост! Он оказался страшнее, чем можно было вообразить. Я имею в виду мир дикой охоты.

— Где люди охотятся на людей?

— Да, его.

— И ты считаешь, что тебе нужно войти в этот мир?

— У меня выбора нет. Мне нужно Тома выручить. А я сделал один только шаг — и оказалось, что я всего лишь бык, который сам пришёл к мяснику.

— Но раз войти в этот мир, Бэн, — значит навсегда в нём остаться. Это как прыжок в болото. Ряска сомкнётся над головой, коричневая жижа колыхнётся... всё. Назад уже — пути нет. Твой сон никогда уж не будет глубоким. На каждого человека, появляющегося рядом, ты будешь обращать внимание, — и, как бы это сказать, *иное* внимание. Я, например, немедленно начинаю чувствовать, имеется ли в человеке склонность к тому, чтобы мучить других. Принц Сова — невидимым, глубинным чутьём определяет в человеке — есть ли у него жестокость к детям. А вот брат Багуба безошибочно видит людей, которые обладают и силой, и знанием, но состоят на службе у нечистых хозяев. Иногда — у совершенно лишённых совести чудищ. У таких, как, например, патер Люпус. А Сиреневый Абдулла из любой толпы мгновенно выхватывает взглядом того, кто наделён от рождения способностями, которые выше обыкновенных человеческих. Это он нашёл большинство наших.

— Он турок?

— Араб.

— А почему «Сиреневый»?

— Очень любит цветные одежды. Некоторые ещё называют его «Пёстрым». Вот так. В тебе тоже есть своеобразие. Абдулла тебя бы сразу увидел.

— Нет у меня ничего. Я, если честно признаться, застенчив и робок.

— Есть. Есть твоя бешеная, дикая сила, проявляющаяся мгновенно, стоит лишь тебе втянуться в поединок. Ущербность твоя в том, что сила эта — глупая и слепая.

— Альба, — проговорил медленно Носорог, — а можно ли научить её *видеть*?

— Это не трудно, — невидимо улыбнулся в трюмной темноте монах. — Тем более что учить тебя уже начали. Только ты больше не плати так дорого за урок!

Бэнсон едва слышно рассмеялся.

— Смеяться уже не больно, — сказал он неразличимому собеседнику.

— Да, — ответил тот. — Ты поправляешься быстро.

— Альба! А я уже прыгнул в это болото?

— Не совсем. Ты сделал всего лишь полшага: обрёл *намерение*. Вторые полшага ты сделаешь после.

— Когда?

— Когда убьёшь человека.

— Я уже убивал.

— Не так. Ты убивал, защищаясь. Это легко. Существует магический слой, двойник этого мира, понимаемый и видимый очень немногими. Ты ступишь в него, когда убьёшь *первым*. И, может, даже исподтишка. Украдкой, в спину. Внезапно. И его кровь будет твоим объявлением «вслух» о намерении. И посвящением, которое оборвёт твою прежнюю жизнь. После этого тебе уже тебе не вернуться в мир строителей, гончаров, отцов, землепашцев. Ты будешь, как бешеный пёс, жить от прыжка и убийства до прыжка и убийства. Поверь мне, в этом приятного мало.

— Но подожди, Альба! Как же в спину, исподтишка? Это же подло! Разве легенды и сказки не учат нас, что тот, кто воюет со злом, — благороден, открыт и чести своей не теряет! Что же ты говоришь?

Мастер долго молчал. Потом зашептал:

— Триста лет назад жил маршал де Рец. Я вспомнил пример для тебя один из самых известных, описанный в судебных хрониках. Звали маршала Жюль. Одно время он был помощником и сподвижником девочки из

Орлеана, посланницы неба. Её звали Жанна. Она спасла тогда свою Родину — Францию от нашествия завоевателей — англичан. Её сожгли живой на костре. Вот. А Жюль де Рец устроился в собственном замке. Ел, пил. Имел — что хотел. Богат и доволен. Из окрестных владений, от крестьян и селян, его собственный «Филипп» привозил к нему детей. Украденных, отнятых, купленных. Он принимал тёплые ванны из их крови. Но крови этих детей ему было мало. То есть *физически* мало. Его ванна не наполнялась до нужного уровня. Тогда он разрезал малышам животы и наполнял ванну их внутренностями. Залезал и купался. Тебе достаточно факта или добавить подробностей? Молчишь! Что молчишь? Отступи назад на триста лет, мысленно встань рядом с владельцем замка Рец — и выбери. Открыто и честно выступить против всего его тренированного злого отряда — и благородно и быстро погибнуть, а значит — обречь на мучения ещё многих детей. Или «коварно» подкрасться и «подло» выстрелить бывшему маршалу в спину. Вот тебе выбор, когда выбора нет.

Смолк, пропал шёпот. Размеренно и негромко колокотала темнота храпом матросов из отдыхающей вахты. Раскачивался корабль. Снаружи обшивку бортов таранили волны.

АЛЬБОВО ЗЁРНЫШКО

Доплыли до юга Британии, пришли в Плимут. — Тут уже не так далеко, — сказал Альба. — Можно и не покупать подорожную, а добраться за скромную плату на попутных обозах. Но я — в погоне, мне лошадь нужна. Вам же — тем более. Так что, Бэн, вынимай-ка монетки...